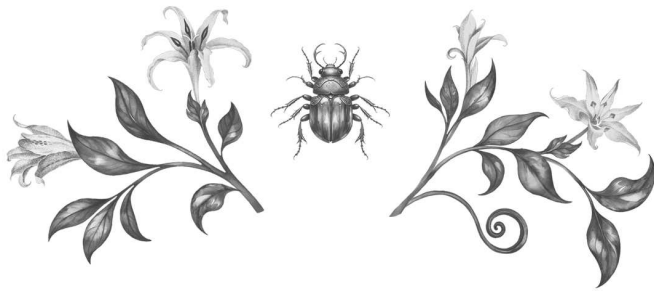


Элегантная классика
ТЕМНАЯ ЛЮБОВЬ





Скорбь Сатаны,
или необыкновенная
история миллионера
Джеффри Темпеста.

Мария Корелли



Москва

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44
К66

MARIA CORELLI
THE SORROWS OF SATAN

Перевод с английского *Влада Чарного*
Художественное оформление переплета
Натальи Каптыкиной

Корелли, Мария.

К66 Скорбь Сатаны / Мария Корелли ; [перевод с английского В. Чарного]. — Москва : Эксмо, 2025. — 480 с. — (Элегантная классика. Темная любовь).

ISBN 978-5-04-216195-7

Действие романа происходит в Лондоне в 1895 году. Сатана ходит среди людей в поисках очередной игрушки, с которой сможет позабавиться, чтобы показать Богу, что может развратить кого угодно. Он хочет найти кого-то достойного, кто сможет сопротивляться искушениям, что будет сложно, потому что вокруг царит безверие, коррупция, продажность.

Джеффри Темпест, молодой обедневший писатель, едва сводит концы с концами, безуспешно пыгается продать свой роман. В очередной раз, когда он размышляет о своем отчаянном положении, он замечает на столе три письма. Первое — от друга из Австралии, который разбогател на золотодобыче, он сообщает, что посылает к Джеффри друга, который поможет ему выбраться из бедности. Второе — записка от поверенного, в которой подробно описывается, что он унаследовал состояние от умершего родственника. Третье — рекомендательное письмо от князя Лучо Риманеза, «избавителя от бедности», про которого писал друг из Австралии. Сможет ли Джеффри сделать правильный выбор, сохранить талант и душу?..

«Скорбь Сатаны» — мистический декадентский роман английской писательницы Марии Корелли, опубликованный в 1895 году и ставший крупнейшим бестселлером в истории викторианской Англии.

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

© В. Чарный, перевод на русский язык, 2025
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательство «Эксмо», 2025

ISBN 978-5-04-216195-7



I

Известно ли вам, что значит быть бедным? Не кичиться бедностью, подобно тому, кто имеет свои пять-шесть тысяч годового дохода и все же клянется, что едва сводит концы с концами, но быть действительно бедным — всецело, мучительно, безобразно бедным позорной, убогой, ничтожной бедностью? Бедностью, что вынуждает носить одно и то же платье, покуда оно совершенно не изнашивается, — той, что лишает вас свежего белья, когда услуги прачки непомерно дороги, что лишает вас самоуважения, заставляя стыдливо красться вдоль улиц, когда вы могли бы гордо шагать по ним в кругу друзей, — я говорю о бедности такого рода. Это сокрушительное проклятие, погребаящее благородные стремления под тяжестью низменных забот; это нравственная язва, прободающая сердце благонамеренного человеческого существа, делая его завистливым и злонаправленным, рождая в нем желание взяться за динамит. Когда он видит жирную, праздную светскую даму, что проезжает мимо в своем роскошном экипаже, лениво развалившись на сиденье, видит ее лицо, испещренное багрово-красными пятнами, следами непомерного обжорства, — когда наблюда-

ет, как безмозглый, утонченный модник курит и предается безделью в парке, как если бы весь мир с его миллионами честных тружеников были созданы лишь для беспечных развлечений так называемого «высшего общества» — вся его благая кровь обращается желчью, и страдающий дух восстает с мятежным воплем: «Почему же, во имя всего святого, все так несправедливо? Почему карманы никчемного бездельника полны золота лишь благодаря случаю и праву наследования, а я, трудящийся в поте лица от зари до полуночи, едва могу наскрести на сытный обед?»

И в самом деле, почему? Почему грешники цветут, подобно благородному лавру? Я часто размышлял над этим. Однако теперь я думаю, что способен ответить на этот вопрос, основываясь на собственном опыте. И каком опыте! Кто мне поверит? Кто поверит, что столь необычная и умопомрачающая доля выпала простому смертному? Никто. И все же это правда — и более правдиво, чем многое из того, что зовется истинным. Более того, мне известно, что многие испытывают злоключения, подобные моим, подпаив под то же самое влияние, возможно, иногда в их сознании мелькает мысль о том, что они погрязли во грехе, но воля их слишком слаба, чтобы разорвать ту сеть, в которую они попались добровольно. Усвоят ли они урок, преподанный мне? Пройдут ли столь же горестную школу под оком столь же грозного надзирателя? Смогут ли постичь, как я, неволей — всеми фибрами моего умственного восприятия — необъятный, неделимый, деятельный Разум, что трудится беспрестанно, хоть и безмолвно, бесконечного во времени, безусловно существующего Бога? Если случится так, тьма их сомнений рассеется, и вся мнимая мирская несправедливость обернется чистой воды беспристрастностью. Но пишу я без надежды в чем-либо убедить или просветить своих современников. Мне слишком хорошо известно, сколь они строптивы — судить об этом я могу по себе. В том, как горделиво я когда-то верил в себя, меня не превзошел ни один из людей на всем земном шаре. И я отдаю себе отчет в том, что остальные находятся в схожем положении. Я всего

лишь желаю изложить здесь события своего жизненного пути в том порядке, в котором они сменяли друг друга, предоставив более смелым умам рассуждать о загадках человеческого существования сообразно их силам.

Стояла жестокая зима, которую еще долго будут вспоминать как одну из самых суровых в этих широтах, когда великая волна холодов захлестнула не только славный британский архипелаг, но и всю Европу, а я, Джеффри Темпест, один во всем Лондоне умирал от голода. В наши дни голодный человек редко у кого вызывает заслуженное сострадание — столь редки те, что могут в него поверить. Достойные люди, те, что только что наелись до отвала, больше всех прочих проявляют недоверие, а кое у кого из них рассказы о том, что где-то голодают люди, и вовсе вызывают улыбку, словно являются обыденными послеобеденными анекдотами. Или, с раздражающей рассеянностью, столь характерной для великосветской публики, что, задавая вопрос, не дожидается, пока на него ответят, или не понимает услышанного, для сытно отобедавших, которые, услышав, что кто-то умирает от голода, лениво бормочут: «Какой ужас!» — и возвращаются к обсуждению последних веяний моды, чтобы убить время, иначе время убьет их абсолютной скукой. Сам факт того, что кто-то голоден, звучит грубо, плебейски, и о нем не упоминают в приличном обществе, где каждый всегда ест больше, чем ему требуется. Однако в те дни, о которых я говорю, мне, с некоторых пор ставшему объектом всеобщей зависти, слишком хорошо был ясен жестокий смысл слова «голод» — грызущая боль, тошнотворная слабость, безжизненное оцепенение, неутолимая животная потребность в одной лишь пище; все эти чувства в достаточной мере страшат тех, кто, по несчастью, испытывает их каждый день, но если они причиняют страдания тем, кто вскормлен в неге и воспитан в манере, присущей джентльмену — Боже упаси! — их боль куда сильнее. Я чувствовал, что не заслуживал тех несчастий, что на меня обрушились. Я трудился, не жалея сил. С тех пор как умер мой отец и я обнаружил, что все состояние, которое, как я

полагал, унаследую от него, до последнего пенни достанется сонмищу кредиторов и от всего нашего дома и имения мне останется лишь украшенный камнями миниатюрный портрет матери, отдавшей свою жизнь, чтобы я появился на свет, — с тех самых пор я работал не покладая рук, от зари до заката. В своем университетском образовании я избрал единственную стезю, для которой, как мне казалось, я был пригоден — литературную. Я пытался устроиться почти в каждое лондонское издание — многие мне отказали, иные дали испытательный срок, но ни одно не платило на постоянной основе. Каждый, кто стремится превратить свой мозг и свое перо в источники постоянного дохода, в начале пути удостоивается участи изгоя. Он никому не нужен; его все презирают. Над его потугами потешаются, рукописи швыряют ему в лицо, не читая их, и он вызывает у всех столько же интереса, сколько убийца, сидящий в камере смертников. Убийца хотя бы накормлен и одет — его навещает достойный священник и даже тюремщик иногда снисходит до того, чтобы перекинуться с ним в карты. Но человек, наделенный даром мыслить оригинально и выражать эти мысли, для всех облеченных властью куда хуже самого отпетого негодяя, и все чинуши едины в своем стремлении растоптать его при любой возможности. В мрачном молчании я сносил пинки с тычками и продолжал жить дальше — не из любви к жизни, но лишь потому, что презирал трусливое насилие над самим собой. Я был достаточно молод и не так легко расставался с надеждой — призрачной надеждой на то, что придет и моя очередь, — быть может, вечно вращающееся колесо Фортуны вознесет меня наверх так же, как перемалывает сейчас, едва способного влачить свое жалкое существование — хотя дни мои сменяли друг друга, ничего не менялось. Почти шесть месяцев я работал в должности рецензента в одном известном литературно-художественном журнале. Мне присылали по тридцать романов в неделю для «критики» — я взял привычку наскоро пролистывать восемь или десять из них, писать разгромный обзор на эти случайно выбранные романы, а оставшиеся вообще не удостоивал вниманием. Я обнаружил, что

подобный образ действий считался разумным, и какое-то время редактор, щедро плативший мне по пятнадцать шиллингов в неделю, был мною доволен. Но меня сгубил единственный случай, когда, пойдя против собственных правил, я тепло отозвался об одном произведении, сообразно совести сочтя его оригинальным и превосходно написанным. Его автор оказался заклятым врагом владельца журнала, и, к несчастью для меня, мой хвалебный отзыв опубликовали; так взаимная вражда пересилила правый суд, и я был незадолго до этого уволен.

После этого я влачил довольно жалкое существование; мне перепадала кое-какая халтура из ежедневных газет, меня кормили обещаниями, которые никто не собирался сдерживать, пока той самой зимой, в январе, я не остался без единого пенни, на пороге голодной смерти, к тому же задолжав месячную оплату за убогую квартиру в переулке недалеко от Британского музея. Весь день я устало таскался из газеты в газету в поисках работы, и везде меня ждал отказ. Все возможные должности были заняты. Также я безуспешно пытался пристроить собственную рукопись — художественный роман, по моему мнению, вполне достойный; но все рецензенты в издательствах сочли его никуда не годным. Как я узнал позже, все эти «рецензенты» по большей части сами являлись романистами; в свободное время они читали чужие произведения и оценивали их. Подобное положение дел казалось мне несправедливым; я всегда полагал, что оно благоприятствует посредственности, подавляя ростки оригинальности. Здравый смысл подсказывает, что писатель-рецензент, занимающий определенное место в литературной среде, скорее станет продвигать авторов-однодневок, нежели тех, что способны потеснить его на этом поприще. Как бы то ни было и сколь порочна ни была сложившаяся система, суждение обо мне и моем литературном детище было крайне предвзятым. Последний из посещенных мною издателей оказался человеком вполне добродушным и не без некоторого сочувствия окинул взглядом мое истрепанное платье и худое лицо.

— Мне жаль, — сказал он, — мне очень жаль, но рецензенты мои высказались единодушно. Из того, что я от них слышал, я заключаю, что вы слишком серьезны. Кроме того, позволили себе несколько саркастических выпадов в сторону общественности. Любезный государь, так не пойдет. Никогда не вините общество — оно покупает книги! Вот если бы вы написали остроумный любовный роман, с *тикантными* нотками, и даже куда более *тикантный*, чем дозволено, то угодили бы вкусу современной публики.

— Прошу прощения, — несколько вяло возразил я, — но уверены ли вы в том, что хорошо разбираетесь во вкусах современной публики?

Он улыбнулся мне снисходительной, довольной улыбкой, без сомнения считая, что подобный вопрос я задал исключительно благодаря собственному невежеству.

— Разумеется, я в этом уверен, — ответил он. — В мои обязанности входит знать о потребностях публики так же хорошо, как о содержимом своих карманов. Поймите меня — я не предлагаю вам писать о чем-то совершенно непристойном, оставим это эмансипированным женщинам, — тут он засмеялся, — но могу заверить вас в том, что высококлассная художественная проза плохо продается. Прежде всего ее не любят критики. Но и критикам, и общественности придется по вкусу чувственный реалистический роман, написанный лаконичным газетным языком. Литературный, аддисоновский язык — это ошибка.

— Значит, по-вашему, я и сам — ошибка, — проговорил я, натянуто улыбаясь. — В любом случае, если вы действительно говорите правду, мне стоит отложить перо и попробовать свои силы в ином ремесле. Я достаточно старомоден, чтобы считать профессию литератора достойнейшей из возможных, и мне не по пути с теми, кто сознательно способствует ее разложению.

Он бросил на меня косой взгляд, в котором мелькнули недоверие и пренебрежение.

— Так-так! — воскликнул он. — Вижу, есть в вас нечто донкихотское. Ничего, это пройдет. Не желаете ли отужинать сегодня в моем клубе?

На его предложение я, нимало не раздумывая, ответил отказом. Я видел, что ему известно, в каком бедственном положении я нахожусь, и моя гордость — или тщеславие, если угодно, — поспешно пришли на выручку. Я торопливо пожелал ему всего хорошего и ретировался в свою квартиру, прихватив отвергнутую рукопись. По прибытии, едва я ступил на лестницу, мне встретилась хозяйка, спросившая, «не соблаговолю ли я уладить дела» на следующий день. Бедняжка обратилась ко мне учтиво и не без некоторой сочувственной робости. Столь явное проявление жалости с ее стороны наполнило мою душу желчью так же, как предложение издателя накормить меня ужином уязвило мою гордость, — и с совершенно нахальной уверенностью я немедленно пообещал принести ей деньги в удобное для нее время, хоть и не имел ни малейшего представления о том, где и как раздобуду требуемую сумму. Расставшись с ней, я закрылся у себя в комнате, швырнув бесполезную рукопись на пол, бросился в кресло и крепко выругался. Ругань придала мне бодрости, и это казалось мне естественным — хотя от недоедания я порядком ослаб, но все же не настолько, чтобы лить слезы — и бранные слова приносили мне такое же облегчение, какое, я полагаю, испытывает взволнованная женщина, разражаясь плачем. Сраженный отчаянием, я не мог ни плакать, ни взывать к Богу. Откровенно говоря, в Бога я вовсе не верил — *тогда* не верил. Я был самодостаточным смертным, презиравшим дряхлые суеверия так называемой религии. Разумеется, воспитан я был в духе христианства, но в моих глазах вера утратила всяческую пользу, стоило мне осознать абсолютную неэффективность христианских священников в решении насущных жизненных вопросов. Душа моя без руля и ветрил неслась среди хаоса, разум тяготил груз мыслей и честолюбия, а тело бедствовало. Положение мое было отчаянным — и сам я пребывал в отчаянии. Если благие и падшие ангелы играли в кости и победившему доставалась человеческая душа, то в этот самый миг кто-то из них делал решающий бросок ради моей собственной. И все-таки, несмотря на все это, я чув-

ствовал, что сделал все, что было в моих силах. Меня загнали в угол мои современники, теснили, не давая жить, но я боролся, как только мог. Я трудился честно, терпеливо — и бесцельно. Я знал негодяев, что получали кучу денег, и жуликов, что сколотили целое состояние. Они благоденствовали, и это, по-видимому, служило доказательством того, что честность все же *не* являлась лучшей политикой. Что же мне оставалось делать? Как мог я ступить на путь иезуита, злодействуя ради собственной выгоды? Такие отрешенные мысли мелькали в моей голове, если только эту отупелую блажь можно было назвать мыслями.

Ночь была невероятно холодной. Мои руки совсем онемели, и я пытался отогреть их при помощи масляной лампы, которой хозяйка все еще разрешала пользоваться, несмотря на долги. Тут я заметил три письма на столе — одно в длинном синем конверте, видимо, повестка в суд или уведомление о возврате моей рукописи; на другом была марка Мельбурнского почтамта; третий конверт был плотным, квадратным, с красно-золотой короной на обороте. Я равнодушно перевернул их, выбрав то, что пришло из Австралии, и взвесил его на ладони, прежде чем открыть. Я знал, от кого оно, и рассеянно думал о том, какие вести в нем заключались. Несколько месяцев назад я подробно рассказал о своих трудностях и растущих долгах старому приятелю из колледжа, что счел маленькую Англию недостойной своих амбиций и отплыл навстречу огромному новому миру, намереваясь заняться золотодобычей. Дела у него, как я понял, шли хорошо, а положение его было весьма прочным, и я отважился прямо попросить у него пятьдесят фунтов займа. Без сомнений, передо мной был его ответ, и я помедлил, прежде чем вскрыть печать.

— Конечно, меня ждет отказ, — проговорил я вполголоса. — Каким бы добрым ни был друг, если просить у него денег, он вскоре очерствеет. Он рассыплется в сожалениях, скажет, что дела идут скверно и времена нынче дурные, в надежде, что я вскоре найду выход сам. Я уже слышал подобное. В конечном счете стоит ли мне надеяться на то, что

он отличается от всех прочих? Ведь нас ничего не связывает, кроме дружеских дней, проведенных в стенах Оксфорда.

С этими словами у меня вырвался невольный вздох, и на мгновение туман застил мои глаза. Я снова увидел башни безмятежного колледжа Модлин, тени благородных зеленых деревьев на дорожках университетского городка, где мы — я и человек, чье письмо я сжимал в руке, — прогуливались в дни беззаботной юности и мечтали о том, что нам, двум гениям, суждено возродить духовность этого мира. Мы любили классиков — нас переполняли строки Гомера, мысли и максимы бессмертных греков и латинян, и я искренне считаю, что в те дни мечтаний мы думали, что и в самих нас есть что-то от героев. Но вскоре мы оказались на арене общества, лишившей нас возвышенных надежд, — мы были всего лишь обыкновенными деталями механизма, и ничем иным, — однообразная работа и проза повседневной жизни оттеснили Гомера на задний план, и вскоре мы обнаружили, что общество куда больше интересовалось очередным пошлым скандалом, а не трагедиями Софокла или мудростью Платона. Что ж! Несомненно, наши мечты о том, что с нашей помощью возможно преобразовать мир, где потерпели поражение Платон и Христос, были глупыми, однако самый закоренелый циник не станет отрицать, что приятно оглянуться на дни минувшей молодости и вспомнить, что хотя бы тогда, возможно в последний раз в жизни, он был полон благородных побуждений.

Лампа горела все хуже, и мне пришлось подровнять фитиль перед тем, как снова приняться за чтение. В соседней комнате кто-то играл на скрипке, и играл хорошо. Смычок извлекал ноты нежно и в то же время с некоторой живостью, и я слушал, испытывая смутное удовольствие. От голода я так ослаб, что был почти безразличен ко всему вокруг, балансируя на грани оцепенения, и пронзительная сладость музыки, взывающей к чувственной и эстетической сторонам моей натуры, на миг пересилила животный инстинкт.

— Вот так! — пробормотал я, обращаясь к незримому музыканту. — Ты упражняешься, пиликаешь на своей скрипке,

и за это, несомненно, получаешь жалкие гроши, на которые едва можно протянуть. Быть может, ты, бедняга, играешь в каком-то дешевом оркестрике, а может, даже на улицах, и голодаешь здесь, в квартале, где живет элита, не смея надеяться, что обретишь популярность и склонишь колено перед его величеством, — а если у тебя и была такая надежда, она безнадежно утрачена. Играй, мой друг, играй! Твоя музыка приятна слуху, и, кажется, ты счастлив. Правда ли это? Или ты, как и я, стремительно катишься на дно?

Скрипка звучала тише, прежняя мелодия сменилась печальной, и ей вторили градины, бившиеся в ставни. Порывистый ветер свистел под дверью, завывал в дымоходе — холодный, будто касание смерти, настойчивый, как нож, пронзающий плоть. Я задрожал, склонился над чадившей лампой, приготовившись узнать, что за новости пришли из Австралии. Едва я открыл конверт, на стол упал вексель на пятьдесят фунтов, которые я мог получить в одном известном лондонском банке. Сердце мое вострепелось от облегчения и благодарности.

— Джек, старина, как я ошибся в тебе! — воскликнул я. — Выходит, сердце у тебя доброе.

И я, глубоко тронутый тем, с какой легкостью мой друг проявил щедрость, жадно принялся за чтение. Письмо было недлинным; очевидно, писалось оно в спешке.

«Дорогой Джефф!

Мне жаль слышать, что ты в столь тяжелом положении; это напрямую говорит о том, какого сорта дурни по-прежнему преуспевают в Лондоне, пока такой способный человек, как ты, тщетно пытается найти себе место в литературном мире и добиться признания. Думаю, что все дело тут в связях, а деньги — единственное, что влияет на ход любого дела. Вот пятьдесят фунтов, о которых ты просил, пожалуйста, — и не спеши мне их возвращать. В этом году я окажу тебе еще одну услугу и пошлю к тебе друга — настоящего друга, без обмана! С собой у него

будет рекомендательное письмо от меня, и между нами говоря, старина, для тебя нет ничего лучше, чем препоручить ему себя и свои литературные дела. Он знает всех, всю хитрость издательского дела, всю шайку газетчиков. Кроме того, он ярый филантроп, и особенно приятно ему общество духовенства. Ты скажешь, что это довольно странная склонность, но он откровенно признался мне, что причина столь причудливой симпатии кроется в его несметном богатстве: он попросту не представляет, что делать со всеми своими деньгами, а достопочтенное духовенство всегда готово подсказать ему, как ими распорядиться. Ему доставляет удовольствие сознавать, что в какой-либо части света его деньги и влияние (а он весьма влиятелен) приносят кому-либо пользу. Он помог мне выпутаться из весьма затруднительного положения, и я очень многим ему обязан. Я рассказал ему о тебе все — что ты умен, что тебя высоко ценили в нашей старой доброй альма-матер, и он пообещал, что окажет тебе услугу. Он волен делать все, что ему заблагорассудится; вполне закономерно, учитывая, что все моральные устои, вся цивилизация и все прочее подвластны силе денег — а его средства кажутся неисчерпаемыми. Воспользуйся его услугами, так как он охотно готов предоставить их, а затем напиши мне и дай знать, как у тебя дела. Не беспокойся о пятидесяти фунтах, пока не почувствуешь, что постигшие тебя невзгоды остались позади.

Преданный тебе Боффлз».

Я рассмеялся, увидев нелепую подпись, хотя в глазах моих, кажется, стояли слезы. «Боффлз» — так окрестили моего друга товарищи по колледжу, и ни я, ни он не помнили, откуда пошло это прозвище. Никто, кроме преподавателей, не называл его Джоном Кэррингтоном — для всех он был просто Боффлз, и даже сейчас все его близкие друзья звали его только так. Я распрямился, отложив его письмо и вексель на пятьдесят фунтов, сиюминутно, вскользь подумав о